

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ



## ПРЕОДОЛЕНИЕ ТОТАЛИТАРИЗМА КАК ПРОБЛЕМА: ПОПЫТКА ОРИЕНТАЦИИ

“Vergangenheitsbewältigung”, “преодоление” тоталитаристского прошлого, — это задача, которая теоретически стоит перед всеми народами с тоталитаристским опытом, хотя на практике, как мы видим, принимается к сведению далеко не всеми.

Один из уроков, которые мы извлекаем из анализа тоталитарных безумств, состоит в том, что безумством оказывается всякая система рассуждений, когда она становится некритической по отношению к себе. В особенности для любого вида критицизма дело чести — трезвый взгляд на себя.

1. Необходимо отметить, что сам по себе императив “преодоления” своего прошлого, то есть систематической критики поведения не тех или иных предводителей нации, но этой нации в целом, и притом в ее собственном сознании, является вполне новым явлением, для которого нет аналогий во всей человеческой истории.

Когда Карл Ясперс выступил в 1946 году со своим знаменитым трудом “Die Schuldfrage”<sup>1</sup>, он действительно формулировал задачу, до сих пор никогда не обсуждавшуюся; я имею в виду, конечно, не специальный казус Германии, но самое логическую структуру вопроса о спектре различных ступеней коллективной вины.

Идея, согласно которой исполнитель военного приказа, и притом такого, который не относится непосредственно к делу палача в узком смысле, все равно виновен перед человечеством и собой, если вердикт мирового общественного мнения и его совесть не признают эту войну справедливой, чужда предыдущим векам. “Узурпатор” Наполеон мог быть виновным и с точки зрения традиционного монархизма, и с более либеральной точки зрения, как поработитель народов: но это нельзя было всерьез распространить на воинов “Grande Armбее”, и недаром русский полководец Багратион за минуту до смертельного ранения на Бородинском поле успел крикнуть похвалу врагу — бесстрашно наступавшим французским гренадерам: “Bravo, bravo!” Уже начало Первой мировой войны сильно стимулировало тип дискурса, в

контексте которого не только правящая элита враждебной стороны, но и вся связанная с ней цивилизация становились предметом систематических нападков, осуществляемых подчас лучшими умами воюющих стран, включая, например, Томаса Манна с немецкой и Шарля Пеги с французской стороны. Столь не сходные между собой Т. Манн и Честертон удивительно сходным образом доказывали, что именно Германия или, напротив, именно Англия представляет в конфликте благородство органической культурной традиции, а каждый раз противоположная сторона — мертвую техническую цивилизацию; это было похоже на спор двойников, зеркально воспроизводящих жестикуляцию друг друга (причем никто из них не знал о другом...). Становление тоталитаризмов утилизировало для своих нужд эту тенденцию и резко усилило ее: для нацистского дискурса все противники были по самой своей природе недочеловеки, *Untermenschen*, для советского дискурса неограниченно морально виновен был, в принципе, каждый иностранец, не предпринимающий специальных усилий к тому, чтобы стать “другом Советского Союза” и через это искупить свою вину. А всех “своих” тоталитаризм стремился всеми средствами втянуть в ответственность за каждое из своих действий, в чем, собственно, и состояла его тоталитарность, то есть его отличие в худшую сторону от более архаических видов деспотизма, довольствовавшихся бессловесной покорностью подданных и не требовавших квазиспонтанного соучастия в виде имитации выборов, демонстраций с требованием расправ и т. п. Это создало специфический контекст для последующего. Речь должна идти не о некоем вневременном императиве, но, напротив, о его становлении на нашей памяти.

2. Не будет ни в какой степени ни деструкцией, ни компрометацией самого по себе морального принципа, лежащего в основе идеи “преодоления” прошедшего, если мы откажемся от идеализирующей мифологизации обстоятельств, при которых эта идея впервые, то есть в момент окончания Второй мировой войны, вошла в политическую реальность. Насколько эта мифологизация возможна, прискорбно свидетельствует хотя бы знаменитый вопрос, задававшийся некоторыми русскими диссидентами в пору конца советской идеологии: почему не устраивают Нюрнбергского процесса над преступлениями коммунистического тоталитаризма? Для того чтобы всерьез задавать такой вопрос, нужно было полностью забыть об эмпирической реальности этого процесса и видеть лишь некую отвлеченную моралистико-юридическую парадигму. Разумеется, предпосылки Нюрнбергского процесса были подготовлены всемирной моральной рефлексией, в которой участвовала, между прочим, и “другая Германия” (*das andere Deutschland*), Германия эмиграции и сопротивления, и без этой рефлексии были бы невозможны. Но для того, чтобы превратить предпосылки в реальность, несовершенную, как всякая реальность, но обладающую правами реальности, необходимы были совсем иные факторы. Прагматика, оказавшаяся в союзе с моральными мотивами, оставалась прагматикой. Военная победа союзников (в число которых, не будем забывать, входил и сталинский Советский Союз, переживавший как раз тогда апогей своего тоталитаризма) только и сделала возможными Нюрнбергский процесс и программу денацификации, осуществлявшуюся оккупационными властями. Такова была прагматическая реальность, неизбежно включавшая в себя разного рода негативные эксцессы: и британские бомбежки немецких городов, и те расправы над немецким населением, за протест против которых Лев Копелев был отправлен в ГУЛАГ, и проявления бессмысленной мелочности в ходе денацификации (когда, например, великий дирижер В. Фуртвенглер был временно отстранен от исполнения своих обязанностей), не говоря уже о тоталитарном

целелеполаганий советской оккупации, в ходе которой конструировалась та самая DDR, проблема “*пре-одоления*” наследства которой обсуждается в докладе коллеги Манфреда Бирвиша. Не была ли та половинчатость, которую доклад коллеги Ханса Моммзена<sup>2</sup> отмечает для раннеаденауэровского периода, не в последнюю очередь обусловлена также и неизбежной психологической реакцией (отнюдь не только экс-нацистов или филонацистов) на одиозные действия оккупационных властей? Но затем уже не только само по себе прошлое как таковое, но и недавние подходы к расчету с ним становились объектом все более резкой критики, в свою очередь имевшей не только моральные мотивы, но и сугубо ситуативные контексты сменявших друг друга моментов.

Совсем иначе обстояло дело в Советском Союзе, одной из тогдашних стран-победительниц. Ситуация, приведшая к тому, что обозначается по-немецки словом *die Wende*<sup>3</sup>, была порождена сложным комплексом внутренних причин. Не без огорчения отмечу, что западное общественное мнение, в свое время, может быть, чрезмерно склонное воспринимать каждую уступку горбачевского СССР как беспримесно чистый акт свободной доброй воли, руководимый так называемым новым мышлением, затем слишком быстро повернулось на 180° и стало не менее безоговорочно воспринимать случившееся как простое поражение, аналогичное военному поражению. Грубо говоря, еще вчера нас, русских, рассматривали как добронамеренных инициаторов конца “холодной войны”, а сегодня мы перешли в статус побежденных в той же войне. Если же говорить серьезно, реальность никак не сводима ни к одному, ни к другому одномерному представлению — ни розовому, ни черному. Обстоятельная характеристика всех участвовавших в происшедшем мотивов, от самых прагматичных до соображений совести, представляет собой самостоятельную тему и не может быть здесь дана. Как бы то ни было, роль морального протеста против тоталитаризма никак нельзя не видеть. Протест этот достиг такой силы, что с ним нельзя было не считаться, не начиная нового витка необузданного террора, чего Горбачев не захотел; но он был не настолько силен, чтобы одержать безусловную победу. В итоге произошел компромисс между советской элитой и оппозиционной частью общества, условия которого не так уж далеки от программы, некогда предложенной Солженицыным в “Письме вождям Советского Союза”: мы освобождаемся от тоталитарной идеологии, но в виде уплаты за такое мирное и бескровное освобождение прежнее начальство, в общем, остается на своем месте. Мы приняли этот компромисс; я до сих пор не вижу ему никакой альтернативы, кроме серии кровавых катастроф. Но он ставит для нас вопрос о смене элиты в особый контекст: приходится считаться с тем, что прежний порядок не был побежден ни внешней силой, ни восстанием снизу, он был демонтирован представителями самой партийной элиты. Старая морально-юридическая аксиома гласит: *pacta sunt servanda*, договоры должны быть соблюдаемы.

Позволю себе отметить, что, если и от Германии, и от России их собственная совесть, но также и мировое общественное мнение требуют всё нового обсуждения своих преступлений, на свете есть страны, от которых никто этого не требует: ни мир, ни голос их собственной совести. Один из многих примеров — Турция, до сих пор не склонная идти ни на малейшие уступки в отрицании самого факта геноцида 1914 — 1915 и последующих годов, унесшего большую часть армянского населения. Недавнее официальное признание этого факта французским государством вызвало со стороны Анкары вполне яростную реакцию. В остальном мир молчит — Турция



слишком нужна как союзник; уже ставится вопрос о ее приеме в Европейское Сообщество. Внутри самой Турции тоже все безмолвствует...

По-видимому, не всякая культура принимает само представление, согласно которому для нации необходимо размышлять о ее коллективной ответственности за грехи и преступления ее прошлого, исповедовать перед всем миром эти грехи и преступления. Эта идея либо есть, либо ее нет. Если она есть, она как всякая моральная идея может быть временно вытесняемой или подавляемой, но продолжает подспудную жизнь. Очевидна ее связь с той высокой оценкой обращения и покаяния, которая прямо или косвенно восходит к христианской традиции. В известной классификации, восходящей к Рут Бенедикт, все это обозначается как *культура совести*. Напротив, цивилизации Востока традиционно определяются *культурой стыда*: там человек должен “сохранять лицо”, и как раз для этого ему лучше не открывать своих неприятных тайн. Современный либерализм подчас высказывает предпочтение *культуре стыда* как предохраняющей от чересчур негативных эмоций; но слишком очевидно, насколько будущее европейской традиции свободы связано с *культурой совести*. Последняя являет особый феномен. Разумеется, сегодня и в странах Востока мы видим некоторое количество правозащитников, готовых на преследования; но я не способен вообразить, скажем, китайского Солженицына, который с такой же силой и с такой же открытостью, как его русский собрат, выступил бы перед всем миром в качестве вдохновенного обвинителя, называющего в своей судебной речи все преступления своего глубоко любимого Отечества! И мне до сих пор не приходилось слышать о какой-либо попытке поразмыслить над тем же истреблением армян у какого-либо турецкого романиста или эссеиста, даже оппозиционного. А то обстоятельство, что Солженицыну свойственно, как мы знаем, национальное чувство, доходящее до страсти, только усиливает контраст: даже это в свое время не помешало ему совершенно открыто сказать, в числе другого, и о творившейся при Сталине неправде в отношении подавленных народов...

Разумеется, слишком часто и мы, как индивидуально, так и коллективно, проявляем готовность думать не о совести, а о том, как *спасти лицо*. Но мы не можем поступать так *bona fide*, словно ничего и не было, и эта внутренняя невозможность объединяет нас, русских, с людьми Запада. Для меня лично нет сомнения, что в этом проявляется, хотя бы и в секуляризованных преломлениях, действие общего для нас христианского наследия.

3. Программа *Uberwdltigung*<sup>4</sup> предстает (совершенно необходимым и естественным образом) как программа перевоспитания масс; ей нужен этот аспект, чтобы не обернуться одной из бессильных и нереальных игр образованного общества в своем узком кругу. Но это сейчас же ставит ее в опасную близость с тем самым тоталитаризмом, который необходимо преодолеть и который сам представлял собой тотальный проект перевоспитания, как говорили в Советском Союзе, “*перековки*” человеческой идентичности, создания “*нового человека*”. При моем искреннем почтении к Карлу Ясперсу, почтении, которое я выражал еще в советскую пору, должен сознаться, что понимаю (хотя и не одобряю) известную реакцию Эрнста Роберта Курциуса, направленную именно против педагогической претензии действовать как “*praesceptor Germaniae*”, наставник Германии, который наконец-то всех воспитает и все поставит на свои места. Как раз опыт тоталитаризма создает особую аллергию против тактик, слишком часто свойственных воспитателям масс, предлагающих ученикам формулы для

заучивания и повторения.

Когда-то известный ученый и мыслитель Карл Керенши сказал, что двери национал-социализму открыл дух абстракции, когда евреи как лица оказались подменены безличной категорией “еврейства”; “убивать евреев” звучит страшно, а “ликвидировать еврейство” — словно бы формула логической операции. Я боюсь, как бы в практику политического воспитания новых поколений не проникло нечто от схематизма, сыгравшего такую роковую роль в том самом прошлом, которое мы преодолеваем.

Поделюсь двумя из моих венских впечатлений. Как известно, после аншлюсса большинство исторических синагог Вены было разрушено. Стратегия, возникающая из сотрудничества наиболее влиятельных еврейских организаций с миром mass media, избирает для напоминания об этой катастрофе такие акции, как, например, установление грандиозной временной копии фасада одной из погибших синагог поверх возникшего тем временем на этом месте жилого дома. Одновременно приходит в запустение и разрушается скромное по размерам, но подлинное здание бывшей синагоги при так называемой Всеобщей больнице; в этом здании была устроена трансформаторная будка, а сейчас располагается склад, — утилизация, которая нам, россиянам, поневоле напоминает советскую практику обращения с местами “отправления религиозного культа”. Этот конкретный казус кажется мне симптоматическим по степени уверенности, с которой броская пропагандная акция, заставляющая вспомнить советско-тоталитарное понятие “монументальной пропаганды”, манипулирующая подобием театральной декорации, то есть откровенным “симулякром”, предпочитается нашим медиальным временем подлинной памяти о реальных жертвах былого. Мне кажется, что это отнюдь не локальная проблема Вены, и только поэтому я упомянул эпизод в этом контексте. Второе впечатление — демонстрация, отнюдь не пронацистская, напротив, вполне “левая”, посвященная последним арабо-израильским конфликтам; мальчики и девочки маршируют под простенький ритм бесконечно повторяемого выкрика: “*Eins, zwei, drei — Palestina frei!*” Я хорошо понимаю, что один и тот же человек может безоговорочно сочувствовать страданиям евреев в пору Шоа<sup>5</sup>, чувствовать историческую связь между ними и рождением государства Израиль — и одновременно пытаться сочувственно понять проблемы той ситуации, в которой при этом оказались арабы. Я по опыту знаю это хотя бы благодаря знакомству с некоторыми из моих израильских друзей. Но именно этот опыт внушает мне, что такие трудные чувства чуткости к бедам и нуждам обеих стороны никак не могут быть выражены в самоуверенной полудетской формуле: “*Eins, zwei, drei!..*” И я ощущаю в себе тревогу всякий раз, когда встречаю у молодого поколения, выросшего в условиях, далеких от тоталитаризма, так много, казалось бы, слышавшего о несправедливости именно к евреям, — ту самую готовность чересчур доверчиво, без малейшего чувства личной ответственности, подхватывать и хором выкрикивать подсказываемые медиальным механизмом “истины”, которой в свое время так широко пользовались тоталитарные системы, создавая и Hitlerjugend, и комсомол. Недаром выражение “*нет хором*” становится таким мрачным символом в устах героя написанной еще в 1925 году повести Михаила Булгакова “Собачье сердце”. Если согласиться с булгаковской критикой раннесоветского тоталитаризма, его беды произошли именно от чрезмерной склонности “*нет хором*”. И перестала ли эта склонность быть опасной после конца классического тоталитаризма? Можем ли мы успокоиться на том, что сегодняшние хоровые выкрики, за вычетом каких-нибудь

скандалезных манифестаций неофашистов, по своему вербальному смыслу не похожи на тоталитаристские лозунги и проникнуты либеральной *political correctness*? Замечу, что нас, русских, опыт советского времени приучил с особым недоверием относиться к надеждам на *political correctness*; в худшее время позднесталинского антисемитизма, когда систематически уничтожалась еврейская элита, на так называемых политинформациях слушателям официально, но тайно сообщались самые безумные версии, вплоть до “кровавого навета” об употреблении евреями крови детей, и готовились общие мероприятия, сравнимые по масштабу с Шоа, — советская пресса оставалась безупречна по части *political correctness*, не упоминая ни “евреев”, ни тем более “жидов”, ведя речь только о “презренных космополитах”. В наше время умственные моды меняются с убыстренной скоростью, каждое новое поколение вступает в генерационный конфликт с предыдущим, а значит, содержание хороших декламаций все равно будет меняться. Я не хочу пророчить мрачные перспективы, однако в одном я уверен: если, не дай Бог, снова придет, выражаясь на классическом языке немецкой мысли, *das radikal Vцse*<sup>6</sup>, сила, абсолютно неприемлемая по моральным соображениям, ей не трудно будет найти словесную маску, чисто внешне не похожую ни на один из видов уже известного нам тоталитаризма. Умственная привычка побуждает нас ожидать возвращения того, что уже было, хотя еще Гераклит сказал, что дважды войти в одну и ту же реку невозможно. (Так в свое время страх перед реставрацией царского самодержавия помешал русским либералам вроде Керенского увидеть надвигавшееся на них и куда более страшное самовластие Ленина.) Поэтому едва ли можно заранее соорудить против возможных будущих опасностей заградительную стену из чересчур готовых благонамеренных формул, повторяемых *хором*, из казуистики *political correctness* и тому подобного строительного материала. Сегодняшний либерализм слишком мало либерален, слишком нечуток ко всему, что не укладывается в медиально сообщимые лозунги. Между тем единственной прививкой, дающей иммунитет против возможности нового тоталитаризма, остается чувство собственной ответственности за каждое свое слово и действие, а потому — недоверчивость к внушениям, к гипнотическим пассам массовых воздействий, да и к тому духу абстракции, о котором говорил Кереньи.

4. Я вижу опасность для дела преодоления прошлого в двух настроениях, не похожих друг на друга, но слишком часто дополняющих друг друга: в сентиментальности и цинизме. Возьму для примера казус не русский и не немецкий: то, как ведется контроверза об уничтожении евреев в польском городке Едвабно 10 июля 1941 года. До сих пор это считалось делом немецких оккупантов; профессорствующий в Нью-Йорке Ян Томаш Гросс утверждает, что его осуществили местные польские жители. Не будучи ни поляком, ни специалистом по польской истории, не имею никакого суждения о самом тезисе Гросса, как кажется, не очень доказательном<sup>7</sup>. Меня огорчает только то, что этот вывод то с патриотическим негодованием, то, напротив, с генерационным злорадством воспринимается как опровержение образа Польши как страны-страдальницы. Как возможно после всех “преодолений” нацизма продолжать делить народы на “хорошие” и “плохие”, причем находить достойными сострадания только первые? Если это не расизм, что такое расизм? Как возможно видеть в совершенном вину не тех лиц, которые его совершили, но всего “польского общества”? Разве не так рассуждали гитлеровцы?

5. Как выглядят сегодня препятствия к моральному преодолению



тоталитаристского прошлого и разобщения между народами? С моей точки зрения, они размещаются в двух противоположных направлениях. С одной стороны, это реликтовые, но живучие воинствующие антилиберальные тенденции националистического и изоляционистского характера. С другой стороны, это склонность современного либерализма, взявшего на себя задачу перевоспитания народов, функционировать наподобие любой другой идеологии, редуцируя себя до лозунга, до примитивного жеста, навязывая эти лозунги и жесты как единственную возможность; это уже не столько защита свободы личного выбора, сколько отмена смысла такого выбора. Что касается жестов, то они слишком часто не только некрасивы, но и глупы с самой прагматической точки зрения, поскольку именно они дают шанс противникам всякого диалога. В 1996 году в Россию приехали представители Green Peace, чтобы агитировать за ядерное разоружение России, предмет с любой точки зрения серьезный, — и вот, желая, как было с невинностью заявлено, привлечь на сторону благого дела молодежь, они не нашли ничего лучшего, как учинить неприличные, на грани порнографии, эстрадные танцы. Тогда любой русский неонацист или неокommунист имел возможность сказать: вот за какую грязь они хотят купить нашу молодежь! Подобных эпизодов слишком много, разумеется, отнюдь не только в России. Это уже не перmissивизм, не толерантность к индивидуальной интимной жизни, это идеологически мотивированное навязывание определенного образа жизни всему миру без разбора, и притом именно в качестве квазисакрального символа ценностей демократической цивилизации. Индуса, сжегшего себя в знак протеста против конкурса красоты, который почему-то необходимо было любой ценой устроить в Индии, нельзя одобрить, но его можно и необходимо понять. Если бы не такие поводы, ни у неокommунистов, ни у неофашистов и неонацистов, ни у фанатиков исламизма не было бы шансов. Как раз демократ не может позволить себе ограничиваться выражением презрения и негодования против человека массы, когда тот прислушивается к самым одиозным глашатаям антилиберализма, отдает им свой голос на выборах и т. п. Каждый раз мы должны спрашивать себя: чем мы довели их до того, что они голосуют за кого попало, лишь бы сообщить нам, пользуясь своим демократическим правом, — до чего они нами недовольны?

6. В связи со всем этим разумно помнить, что тоталитаризмы не были простым бунтом подсознания с его “архетипами”; они получили свой исторический шанс лишь постольку, поскольку были абсолютно ложным ответом на вполне реальные вопросы, порожденные кризисом прежних идентичностей. Конец и последовавшее развенчивание тоталитаризмов дают нам в полной степени ощутить реальность самих вопросов. Только полная открытость навстречу вопросам, полная честность и трезвость в отношении их может действительно отнять шанс у возвращения тоталитарных тенденций в будущем. Воспитания интеллектуальной честности не заменит тренировка самых “правильных” готовых реакций на *слова*.

Выступление на Международной конференции “Преодоление прошлого и новые ориентиры его переосмысления. Опыт России и Германии на рубеже веков” (15 мая 2001 года, Москва).

<sup>1</sup> “Вопрос о вине” (нем.). (Здесь и далее примеч. ред.)

<sup>2</sup> Выдержки из этих докладов см. в подборке материалов конференции (“Независимая газета”, 2001, 15 мая).

<sup>3</sup> Поворот, перемена.

<sup>4</sup> (Пре)одоление (*нем.*).

<sup>5</sup> Шоа — Катастрофа, Холокост (*иврит*).

<sup>6</sup> Радикальное зло.

<sup>7</sup> Ср., в частности, статью Андрея Колесникова “Урок польского” (“Известия”, 2001, 22 мая), где приводимые Я. Т. Гроссом факты не ставятся под сомнение.

© 2001 Журнальный зал в РЖ, "Русский журнал" | Адрес для писем: [zhz@russ.ru](mailto:zhz@russ.ru)  
По всем вопросам обращаться к [Татьяне Тихоновой](#) и [Сергею Костырко](#) | [О проекте](#)